

ПИТЕР
ПОКЕТ



ДМИТРИЙ
КОНАНЫХИН

**СТУДЕНТЫ И СОВСЕМ
ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ**

18+

*«Ладно, мы ж молодые, пошли жить дальше —
жизнь удивительная штука...»*

Дмитрий Конаныхин — обладатель федеральной Горьковской литературной премии в номинации «Русская жизнь» за связь поколений и развитие русского эпического романа.

Питер покет

Дмитрий Конаныхин

Студенты и совсем взрослые люди

«Питер»

2011

УДК 821.161.1
ББК 84(2=Р)6

Конаныхин Д.

Студенты и совсем взрослые люди / Д. Конаныхин — «Питер»,
2011 — (Питер покет)

ISBN 978-5-00116-881-2

Вторая часть трилогии Дмитрия Конаныхина, следующая за романом «Индейцы и школьники», повествует о ленинградском студенчестве. В «Студентах» присутствует характерная для писателя многослойность сюжета и яркие, содержательные картины послевоенного украинского села, киевского и ленинградского университетов. Трилогия – продолжение бестселлера «Деды и прадеды», получившего Горьковскую литературную премию 2016 года в номинации «За связь поколений и развитие традиций русского эпического романа». Содержит нецензурную брань.

УДК 821.161.1

ББК 84(2=Р)6

ISBN 978-5-00116-881-2

© Конаныхин Д., 2011

© Питер, 2011

Содержание

Опять пролог	6
Глава 1	7
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Дмитрий Конаныхин

Студенты и совсем взрослые люди

Часть средств от продажи книги будет перечислена в библиотечные фонды территорий, пострадавших от военных действий.

© ООО Издательство «Питер», 2023

© Серия «ПИТЕР ПОКЕТ», 2023

© Дмитрий Конаныхин, 2023

Опять пролог

– Терентьевна, а що ви тут робите?

– А? – Тася, утомлённая бессонной ночью и выматывающим ожиданием, одурело посмотрела на подошедшую санитарку.

Более тонкий наблюдатель увидел бы выкатившиеся из-под лба и медленно сокращавшиеся зрачки, услышал затарахтевшее от внезапности пробуждения сердце, заметил дёрнувшуюся от сердечной боли руку. Устала Тася до невозможности. Но вековой санитарке Марии Тарасовне Ромашко эти мелочи были ни к чему. Она быстро и привычно промывала и так чистый коридор, отжимала тряпки, бегала, меняла воду, старательно растворяла хлорку, протирала плитусы, короче, делала привычную работу столь же быстро, как и жила всю свою шестидесятипятилетнюю жизнь. Быстрым круглым снежком она носилась по коридорам родильного отделения Топоровского роддома, оставляя за собой влажную чистоту и явно куда-то торопясь.

– От, Терентьевна, й ви втомилися, да? Й увесь день така спека, й духота ж така. Увесь день... От я зараз рядом з вами сяду... – Тарасовна грузно опустилась на скрипнувший стульчик. – От. А то нам'ялася за цілий день – усі геть усі бігають и бігають, топчуть и топчуть, добре, що дощу немає, бо насмітили б усюди. А я Володимира ж Зшововича скільки вже прошу, щоб стареньку якусь ковдру положили на порозі, щоб не натрушували пісок усюди, – Тарасовна затарахтела на быстром «топоровском» суржике, – ну, а йон вже й каже, що зроблять, але ж не зразу, а я йому вже й кажу, що не треба ж на ганчірках якусь копійку шукати. Ось. А я цілюсьенький день тут бігаю, бігаю, а йони ж натрушують и натрушують, а мені ж замітати геть усе чисто. А зараз усі геть чисто ж кіно дивляться, начебто й не треба до дому бігти. А мені ж що робити? Га? Як я усе перемию, а йони знову у своїх моднявих черевиках, тухлях – та по чистому? А я им вже й кажу, що ось пагано ви вчилися у Таси Терентьевни, що Добровська, як ви маленьки були, вона ж не такому вас вчила. От вже ці дохтура, не розуміють, що й моя праця, вона ж не сама робиться!

Тарасовна всё больше распялялась; сев на любимого конька о взаимоотношениях уважаемой себя с врачами, она могла говорить довольно долго, особенно если слушатель обречённо откидывался на спинку поскрипывавшего деревянного креслица у дежурного столика, закрывал глаза и молча сносил её филиппики. Тарасовна говорила ярко, убедительно и непреклонно. С такой энергией, да в нужном месте, да в нужное время, Карфаген пал бы гораздо раньше. Великая властность была заключена в маленькой старушке, о чем периодически сокрушался её смиренный муж Мирон Петрович, от такой жизненной удачи заделавшийся первостатейным философом-стойком. Но судьбы малороссийских карфагенов столь обширны и столь витиеваты, что даже малый пересказ пламенных споров, столкновений и пограничных конфликтов Тарасовны с её кумушками и соседками довёл бы до нервной икоты любого современного Плутарха.

Тася медленно приходила в себя, слушала, кивала, посматривала на часы. Стоп. Надо спросить – что там, в родильном.

– Тарасовна, скажите, а как там роды?

– Які роди? – не поняла старушка. – Так немає нічого, вже нікого немає. Хіба що була якась жіночка, рожала якась не тутошня, – и пока Тася медленно поднималась, ужасно сверкая глазами от этого «була», Тарасовна брякнула: – А! Згадала! Филиппова. Филиппова – це було ийи прізвище, хвамилия, ось! Я ж и не бачила, де йона, та й немає вже нікого. Вона ж тільки що вмерла, так мені сказали. Казали, що дитинка дуже завелика, що... – она посмотрела на мою будущую бабушку и завизжала на весь коридор: – Терентьевна, що з вами?!

Глава 1 «Отдай мне маму»

1

Удивительно, насколько может быть созидательной подлость.

С ненавистью понятно: ненависть – чувство уничтожающее, мстительное, окончательное. Ненависть без уничтожения прокисает в уксус стариковски-жалкой истерики, бессильных конвульсий, вполне себе такая мерзенькая штука. Ненависть, реализованная в уничтожении, доставляет удовлетворение.

Удовольствие.

С подлостью сложнее – подлость в нашем мире цветёт и пахнет сотнями сортов, если не тысячами. Устанешь перечислять оттенки – расчётливая, нечаянная, трусливая, скупая, мелкая (пакость), обыденная, болезненная, предвкусшающая, беспощадная, растерянная, суетливая (бывает ли суетливой ненависть? А подлость бывает, не так ли?), методичная, отсроченная, проверочная, искушающая, совращающая, изматывающая, болезненная, сладостная и чудовищная – сколько же слов придумано жертвами подлецов!

Но созидающая?

Ведь по сути своей подлость направлена не на окончательное уничтожение кого-то другого, проклинаемого, вражеского, а на выгоду для себя любимого, даже так: нежно любимого. Пусть чужой ценой. Именно за чужой счёт – не за свой же? Ненависть сродни оружию для открытой схватки, напротив, подлость сродни путам, сетям, паутинам, ямам, ядам, петлям, капканам. Ненавистник бьёт открыто, подлец расставляет сети, он, скорее, траппер, вооружённый бесчисленно-ухищрённо-готовыми ловушками на пути простофили. И сколько возможностей у траппера! Подлец – отличный охотник, хитрый мастер; он изучает повадки дичи, спокоен и всепрощающ (к себе, разумеется).

Удивительный, распространённый тип. По Дарвину, более живучая версия. Это ведь лишний человеческий материал встаёт добровольцами под пули, это фанатики, с белыми от ненависти глазами, разбивают дворцы и жилища своих врагов, это идеалисты губят себя, бескорыстничая и запутываясь в нагромождениях откровений, проповедей и ограничений, это глупцы выкрикивают страшные слова, просто потому что больше молчать не могут. Подлецы никогда не пойдут первыми, они останутся в штабах и нацепят ордена болванов, погибших на передовой, подлецы не рванут в поле, в шахту, в путину – туда, где телу не вмоготу. Они не будут сходить с ума в поисках смыслов, нет. Они смолчат в правильный момент. И скажут – всю правду, конечно, – именно тогда, когда нужному-важному человеку нужно. Они – на полшага сзади, но своей добычи не упустят – падальщики рода человеческого. Чистильщики, добивающие слабого, унижающие убогого, – оглянись – не за твоей ли спиной внимательное и доброе лицо подлеца?

Так что же – подлость всепобеждающа? Правду сказать? Брось, не боится подлость правды. Бессильной правде можно вырвать язык, не заметить, оболгать, обмазать дрянью бесконечных слов. Эта Правда валяется в грязи, жалкая и беспомощная, как брошенная детьми, выжившая из ума мать, ставшая обузой. Красное слово – обуза. Разве не прозвучало знакомое – узы? Те же путы. Как бесчисленные «испанские кораблики», согнанные ветрами в огромную массу, жгучими щупальцами вылавливают любую жертву из прозрачной океанской воды, так и подлецы, поднятые из своих убежищ непогодой перемен, с наслаждением давят простаков.

Но если жертва сможет вырваться из капкана, сможет отгрызть лапу, выхаркать, выблевать яд, пусть с кровью, да ещё и выжить умудрится, тогда на всю жизнь человек научается распознавать подлеца и душить его сразу. Только тогда освободившаяся, наученная горьким опытом, несостоявшаяся жертва меняет, создаёт свою новую судьбу. Вынужденно, но создаёт. Именно в этом смысле подлость может быть созидательной. Невольно созидательной.

Но только потом. Сначала – несладкая учёба.

Нравится отгрызать лапу? Нет?

А придётся.

2

Конверт. Большой. Печати, печати, печати. Из Киева. Дата позавчерашняя. Адрес правильный – Топоров, улица Будённого, 70. Обратный адрес...

– Из университета, – Вася глянул на ожидавших Зосю и Тасю.

Зоська блеснула глазами, тянула шейку, напряжённо радовалась и боялась, так, на всякий случай. Тася смотрела безучастно, даже как-то сумрачно. «Потом спрошу, чего она там супится», – подумал Вася и стал читать казённые строки. Потёр переносицу, потянулся, крякнув, взял очечник и надел новенькие очки, к которым только привыкал. Вчитался. Не понял. Ещё раз перечитал.

– Вызывают. Тася, нас с тобой вызывают в университет. «Для собеседования приглашаются Добровская Т. Т. и Добровский В. В.» Что за дела? Тася, ты ж ездила, смотрела, как Зося документы заполняла?

– Смотрела, – бесцветно ответила Тася. И опять тишина, только в сторону глазами блеснула.

«От и характерец. Ну и характерец у негры», – Вася глянул быстро, пошевелил густыми кустами бровей. Жена глянула в ответ, словно чёрным огнём подарила. Этот взгляд, редкий и особый, он знал прекрасно и понимал, что в таких случаях лучше Тасю не трогать. Уже давно Тасина кожа потеряла девичью смуглость и фигура утратила удивительную стройность, но что-то, а горделиво вскидывать голову Тася-дикарка всегда умела великолепно.

– На завтра вызывают. Я и не слышал такого, чтобы приёмная комиссия вызывала. Ну, надо, значит, надо.

– Не надо.

– Не понял, – Вася решил было тоже вскинуться, но долгая супружеская жизнь давно приучила думать наперёд. Поэтому сдержался. Что, вообще-то, было для него... несвойственно, что ли. Он лишь осторожно пригладил поредевшие волосы на макушке.

– Не надо, Вася. Я поеду с Зоськой. У меня как раз день свободный. А ты... У тебя же вроде дежурство?

– Ну, я могу перенести, ты ж понимаешь, университет – это не цацки-печки, это... – Вася пощёлкал пальцами, – это университет.

– Слушай, муж, – Тася блеснула глазами и перешла в быструю и сокрушительную атаку. – На своих кораблях командовал, знал, что делать? Дома, если что, командуешь? А тут – я разберусь, сказала же. Это *мой* университет. Я там училась, дорогу не забыла. Что ты там будешь – орденами звенеть? Ты же знаешь, там сейчас таких, как мы, море. И с записками, и с телятками-свинками-сальцем, и ещё с кое-чем, – Тася почувствовала, что перегнула палку, и поучительски, неуловимо смягчила. – Ну и, ты понимаешь, лучше, если дочка с мамой придёт, мы же ж с села, мы же ж простые-простые, там разберёмся, что и как.

Зоська, золотая медалистка, рыжая Зоська, только позавчера сдавшая документы в приёмную комиссию киевского университета и примерившая, как новое платье, такое красивое и уже её личное слово «абитуриент», внимательно рассматривала родителей; она уже взрослым

умом прекрасно понимала, что взрослые что-то такое решают, что чуть-чуть стесняются при ней обсудить на повышенных тонах. Раньше она бы ушла в свою комнатку или удрала бы куда, но раз уж дело касалось её судьбы, то она упрямо, из контрапункта, настаивая на своей взрослости, продолжала терпеливо мешать своим присутствием.

Опять сдавать экзамены, целых пять... Она знала всё, она была готова – зря, что ли, медаль золотую получила? Нет! Не получила – заработала! Вон, даже в районке её фото было, вместе с другими медалистами и отдельное, вот так. И она просто уверена была, что сдаст всё, сдаст безо всяких, а дальше – дальше университет распахнёт свои двери, она вступит туда, в бесконечные, эхом наполненные коридоры и будет дышать таким особенным воздухом, она будет... Всё будет. Но надо всё-таки нигде не ошибиться.

Зося вспомнила толкучку в приёмной комиссии и те бесконечные бумаги, которые она заполняла таким красивым-прекрасивым почерком с пижонскими завитушками (так, как папка Васька иногда делал). Потом – раздражавшее до чесотки ожидание куда-то девшейся мамы (ту позвали куда-то, вроде кого-то знакомого встретила). А потом вернулась Тася, они сразу заторопились домой, и Зоська немножко даже завидовала маме, которая лихо разбиралась в лабиринте поворотов, коридоров и лестниц университета. В жарком, звенящем трамвае Зоська извертелась вся; она уже наизусть знала расписание экзаменов, сердце тихонько тарахтело, словно на холостых оборотах, даже по спине мурашки пробежали – начиналась новая жизнь, такая красивая, такая долгожданная, важная и нужная. Она пыталась заговорить с мамой, но Тася отвечала как-то невпопад, неловко, спотыкаясь на ответах, чуть отвернувшись и смотря в окно. Зося перестала её дозывать, бросила это занятие, немножко обиделась и тоже стала думать о совсем-совсем своём, и сентиментальное лязганье старого трамвайчика ничуть не мешало, наоборот, увлекало и кружило мысли, как в танце...

Сколько книжек прочитано, сколько непроливаек перевёрнуто, сочинений перечёркано, сколько всего уже прожито – она теперь стала взрослой. Да-да, взрослая! Уже восемнадцать лет! И даже лишний «хрущёвский» год в таком лишнем, таком ненужном одиннадцатом классе уже не тяготил пустой тратой её времени, её готовой к победам молодости. Зато каким она логопедом стала! Зря, что ли, голова пухла – и в школе учиться, и в университет готовиться (да-да! только в университет, как мама!), и ещё практику проходить в детском садике «Сонечко»? И детки те смешные, и в школе учкомом, да и маме помогать с проверками тетрадей, да и самой жизнь жить – ой, сколько много всего приходит и таится в рыжей восемнадцатилетней головушке!..

Но – что будет, как будет?

До вступительных экзаменов оставалась неделя, погода была чудесной, всё было здорово. Да и взрослая Зосина жизнь начиналась замечательно в том славном 1963 году.

3

– Ну, здравствуй.

– Здравствуй.

– Проходи, проходи, ну что же ты. Дай плащ сниму. Нет-нет, что ты, что ты, конечно, давай вот сюда – в шкаф. Здесь. Да. Вот вешалка. Давай повешу. Да... Сколько мы с тобой не виделись? Лет... двадцать?

– Двадцать три, Валера.

– Ах, ну да. Конечно, с 41-го. Но ты выглядишь так, будто не было всего вот этого... Ну, ты понимаешь. А как тогда, в Гидропарке, помнишь? Ах, Гидропарк, Гидропарк!.. Помнишь, как Петька на лодке? Ой, да что ж это я? Проходи, садись. Да нет же, что ты. Это так я с людьми разговариваю, ты вот сюда, в кресло садись. Да нет, что ты, не утонешь. Я сам такие мягкие

подбирал. Мне из министерства подарок. Ну, потом расскажу, из какого. Да... Двадцать три года. А ты такая же – такие же брови, такие же глаза. И выглядишь только лучше.

– Спасибо. Стареем потихоньку, жизнь такая. А ты всё комплименты говоришь.

– Нет-нет, что ты, именно лучше. Такая стала... ну, как бы получше сказать?.. Ну, плавность, что ли... О! Да, конечно, женственность особая. Ты всегда была в группе мечтой всех ребят. Помню, как мы с Сашкой тогда пошли на Подоле...

– Валерий.

– Что?

– Валерий... Петрович. Да. Валерий Петрович, я пришла к вам...

– Боже мой! Да прекрати ты эти «выканыя». Я тебе кто – чужой человек, что ли? Нет-нет, сейчас обижусь, обижусь непременно! Вот так возьму и обижусь. Что же ты, после того, как ты нашлась после стольких лет, после того, как ты исчезла непонятно куда... Ты знаешь, а я ведь тебя искал. Точно говорю – искал, искал, как только вернулись из Харькова, я в Киеве в комендатуре плешу всем попроедал, вот смехотура была, как помню, всех на уши ставил, чтобы в личных делах да в ведомостях найти, где же ты пропала. А тут – вон как оказалось, что ты всё время здесь, рядом была. Слушай, красавица! Да что ж это я, совсем? Совсем с ума сошёл, что ли?! Сейчас, сейчас, погоди. Да, сейчас. Ты останавливай меня, я как с ума сошёл, когда узнал, что ты пришла. Мне Олечка доложила, что ты с самого утра, а я даже не успел как следует приготовиться, из дому сразу в горком, а тут – ты. А я даже и не... Слушай, не смейся, я сейчас. Олечка! Да-да, никого. Никого, я сказал. Кто? Подождёт. Подождёт. А ещё лучше скажи, что я уехал. Нет. Нет. Скажи, что у меня важная встреча. Нет... Нет. Да, так и скажи. И да, Олечка, организуй быстренько кофе – и к кофе. Да и, пожалуйста, возьми тот, что нам товарищи из кубинской делегации привезли. Да, Олечка. Давай побыстрее. Ну, ты моя умница. Так что же? Вот так... Я и не знал тогда, что ты, ну... Что ты здесь, в оккупации, оказалась. Ты же лучше всех нас немецкий знала.

– Знала.

– Что?

– Ничего. Знала. Да забыла. Как чужой стал. Слышать не могу.

– Ой, да брось ты! Ну что ты как маленькая! Право слово! Как Гёте и Шиллера читала – неужели забыла? А помнишь, тогда, летом – как же ты Гейне – нараспев! Я тогда только и думал: «Боже! Как чудесно, как удивительно чудесно льются строки Гейне в шоколадной темноте каштановых аллей!..»

– Валерий!

– Что?

– Валерий, к чему ты все это? Говоришь, говоришь... Что говоришь-то? Вон ты какой важный стал, красивый, солидный весь.

– Слушай, да брось ты! Ну вот, рассердилась. Ну-ну, не сердись, не сердись. Да... А я как узнал, что ты здесь, в оккупации, была, так сразу и подумал, как же здорово ты немецкий знала. Наверное, помог тебе – прожить – пока мы не пришли?

– Подожди. Кто это – «мы»?

– Как – «кто»? Мы – освободители. Я же один из первых, мы же при штабе фронта в переводчиках были.

– При штабе? Высоко залетел...

– Да-да! Точно! Ты сразу поняла! Представляешь, у нас там такие случаи были – нам пленных приводили, а мы с ними знаешь, как мучились? Хотя... Там был один случай, привели нам полковника, а он из Ляйпцига сам родом. Какое же это было удовольствие – вот так, вживую, слушать (и переводить) речь уроженца Ляйпцига. Он нам всё рассказал, что ты, что ты. Мне тогда орден дали – целый день переводил.

– За день перевода – и орден?

– Ну да! Не веришь?

– Почему же, верю. Наверное, геройский перевод был.

– Нет, ты не представляешь, как это сложно было – всё в точности, как товарищ генерал скажет. Он адъютантам цыкал, чтобы мне кофе приносили, знаешь, ну, его, генеральский кофе – и мне – переводчику! – и всё ожидал, что же тот штабной оберст расскажет. А я того кофе залился – во! – по глаза, чуть из ушей не текло, сердце только тархтело, как воробей. Вот так... Ну, потом мы освободили Киев...

– «Мы»?

– Да! Вошли, меня сразу к коменданту – искать немецкие бумаги. А там всё перевернуто вверх дном, и штабные бумаги, и из магистратуры отчеты, а мы все с товарищами из... ну... «оттуда» – искали, ну... ты сама понимаешь – очень важные документы искали. А я всё думал, как бы найти тебя, может, думаю, где в каких бумагах какие следы остались.

– Почему? В каких бумагах?

– В магистратурских, конечно. Но потом так обрадовался, нет-нет, честно! Обрадовался, что не нашли, это же лучше, правда?

– Правда. Ты думал... Ты, что же, думал?..

– Ах ты ж умница-красавица! Всё сразу хорошо поняла. Конечно, лучше, что не было у немцев никаких на тебя записей. Значит, и не было. Значит, спряталась где-то. Но я искал тебя. Даже товарищей из МГБ хотел подключить.

– Хотел или «подключил»?

– Ну... Ну не сердись, что ты, что ты! Конечно, хотел. Но потом, знаешь, стали мы наш славный университет восстанавливать, ты не представляешь, сколько работы было!

– «Мы»...

– Да! И потом ещё ребята пришли, демобилизовались. Помнишь Вальку Кравченко? Пришёл. И Зойка Лавренко, и Димка Хороших, и Юрка Поляков – он сейчас на другом факультете. Мы по три часа спали, всё хотели успеть... Ну где же эта Ольга? Олечка! А, ты уже здесь. Ну, давай, давай, угостим нашу гостью. Вот. Да-да, поставь сюда. Спасибо, Олечка. Да, Олечка, помнишь? Ни-ко-го. Славно, очень даже славно.

– Валерий.

– А ты послушай, послушай, не торопись, ты же в гости к старому доброму товарищу, да после стольких лет! Вот... О чём это мы? Да! Вот, и ещё Зинка Соловьева, и Серёжка Шлихтман, потом... Жаль, что тебя не нашли. И Сашку жалко, да. А ведь я тогда тебя так ревновал к нему, у вас же такая любовь была... Ты не знаешь, что с ним? ребята говорили – вроде погиб? Точно погиб? Мои соболезнования... Жаль. Очень жаль. Я тогда прямо сразу заплакал, когда про Сашку узнал, что погиб. Как представил себе, что же тогда в Броварах да на Ирпене творилось, где мы, киевские студенты, строили укрепрайон!

– «Мы»?

– Ну конечно, я же тоже, но, ты же знаешь, меня взяли в горком комсомола, а потом, потом очень важные документы готовить для эвакуации, ну, ты понимаешь. Важные!

– Понимаю. Ещё бы. В горкоме комсомола – и такие важные-преважные документы.

– Конечно. Потом эта мучительная дорога, никаких известий, быстро, ночами, там стреляли. А ещё потом сказали, что даже Кирпонос... Жаль, хороший был дядька. Он к нам домой заходил как-то раз. Отец приглашал, помнишь? А ты тогда не пришла, я ж тебя приглашал, познакомить хотел с нашими. Но ты тогда такая строгая была, как и сейчас – тоже строгая. Нравится кофе? Наши кубинские товарищи подарили, когда приезжали к нам. Очень хороший кофе. А аромат какой! Да ты попробуй, вкус божественный! Такой кофе не достать нигде, это настоящая редкость. Вот... Так вот... Знаешь, мне как показали тогда списки, я и не понял сначала, что и кто, но потом Юрка прибежал, ты представляешь – прибежал! У него правая

рука парализована и нога не гнётся, а он прискакал, кричит: «Валерий Петрович! Валерий Петрович! Там!» – и про тебя, про тебя! «Ах, ты же, думаю, наша красавица объявилась».

– Погоди. Юрка – тебе – «Валерий Петрович»?

– Ну да. А как же? Субординация, будь она неладна, иначе порядка не будет. Ну, так вот, я потом послал за тобой, чтобы нашли, чтобы увидеть тебя, моя хорошая. А ты уехала, не удержали тебя. Ух, я им врезал тогда! Ух и врезал! Чтобы знали, как мои приказы не выполнять. А теперь ты – и здесь, у меня, рядом со мной.

– Ну, ты же сам вызвал, как я понимаю.

– Вызвал, не вызвал, какая разница?! Погоди... О чём это я? А ведь знаешь, я даже шелест твоего платья помню – там, в Гидропарке – всё-всё помню, как ты с нами ходила. Ты впереди шла, с девчонками, а мы с ребятами – сзади. Только вот никому не говорил, что платье твоё запомнил. И причёску – тоже. Хочешь, опишу? Ну да, конечно, всё помню. Я вот как подумал, что тебя нашёл... Знаешь, я ведь не просто так. Я же всё понимаю, но и ты пойми, мы же люди взрослые, не маленькие. У меня к тебе предложение. Да ты пей кофе, шикарный вкус!

– Я пробую, пробую. Что за предложение, Валерий?

– Ох, как же официально ты умеешь говорить!

– Так и ты сейчас вроде очень даже официальное лицо.

– Вот ведь ты шутница! Я это тебе припомню, обязательно припомню, красавица. Ладно, давай к делу... Нет, всё-таки это не кофе, это песня. Бес-са-ме-е-е, бес-са-ме муч-чо... Слушай, ну что ты там без дела сидишь? А здесь – университет, Киев! Столица! Тебя сразу на кафедру – к нашим пердуньям – ты же немецкий должна была даже усовершенствовать, не так ли?

– В оккупации, ты же сразу напомнил.

– Да, я прекрасно помню, что ты в оккупации была, представляю, через что пришлось пройти.

– Представляешь? Валерий? Ты – представляешь?

– Ну да, конечно, я за эти два дня к товарищам обратился, мне бумаги показали, где ты и что ты. Видел твоё дело и дело Грушевского. У меня даже сердце в груди так заколотилось, так заколотилось, сразу подумал: «Нашёл мою красавицу!»

– «Мою»?

– Ну-ну, ну что ты к словам цепляешься? Что ты, что ты? Я ведь сразу и подумал, что нечего тебе там быть – тебе ведь в Киев, да с твоей головой, да в университет, я обо всем договорюсь, ты только представь себе: у-ни-вер-си-тет! Разве это с житомирским полуинститутом сравнится?

– «Полу»? Почему «полу»? Зачем ты в этом всё копался?

– Ну, брось, это же не твой масштаб! Мы же с тобой, моя красавица, горы свернём. Ты знаешь, сколько дел сейчас? У-у-у... Во! До чёрта! А ты бы на кафедре иностранных ой как бы пригодилась. Мы бы такое развернули! Слушай, да чем чёрт не шутит – там и о диссертации можно... Да хоть о Гейне! Ха-ха-ха-ха! Точно! Слушай, и дочке будет славно – ты о дочке подумай. И... И я буду знать, что ты рядом. Я же... Нет-нет! Дослушай! Послушай меня... Вот посмотри, мы уже час с тобой тут говорим, посмотри на меня, ты ж послушай, я же для тебя, ты же знаешь, всё прекрасно знаешь, я же для тебя... горы сверну. Верить? Ты поверь, пойми, ну, как же, я все эти дни, пока тебя ждал, я же чуть с ума не сошёл, поверь. Вот так в груди и бьётся, бьётся, как подумаю, что ты придёшь, что переступишь порог этого кабинета, где все меня знают только как страшного и ужасного, все «товарищ заместитель, товарищ заместитель», а я же живой! Живой – веришь? И вот, понимаешь, столько лет, а в душе, представляешь, все наши вечера, все танцы. Помнишь, как я тебя пригласил тогда, на Новый год? А я помню, я всё-всё помню... Соглашайся, соглашайся, я же... Я... Ты пойми, поверь, я же для тебя всё сделаю, я же буду в пыли валяться, буду ноги тебе целовать. У тебя всё будет! Разве сейчас – у тебя что-то есть? Да брось ты! Я всё разузнал. Не пара он тебе! Обычный алкоголик. Стоп! Не вскакивай.

Разговор не закончен. Не закончен. Ну, прости, прости меня, моя родная. Прости. Ладно, не будем. Это я вот только когда к тебе подошёл, как увидел родинки на твоей шее, так сразу всё в голове помутилось, я же... Ну ты пойми, после стольких лет – и ты, ты, моя красавица – здесь, рядом, так близко! Ну-ну, не дрожи, не дрожи ты, ну пожалуйста, пожалуйста. Не дрожи. Я ж тебя всегда любил, всегда мечтал, чтобы мы встретились, вот так, чтобы никого, чтобы только мы, чтобы вся жизнь впереди, и никто, слышишь, чтобы никто не мешал! Вот и сейчас – разве кто-нибудь нам помешает? Да никто! погоди, ты же помнишь – тогда, на Саксаганского – помнишь? Ну, не можешь не помнить – тогда ещё Сашка напился, всё кричал, всех будил: «Люди! Если звёзды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно!» Ну-ну, не бойся. Ты же вспомни, мы всегда с тобой дружили, помнишь, как нам было хорошо?..

– Что ты врёшь?! «Нам»?!

– Ну-ну, ты неправильно поняла, не так, что ты, что ты? Какая же ты дикарка стала – там, у себя, в захолустье. Ты ж наша звезда была всегда, разве не так? Вспомни, как мы из-за тебя на спор Днепр переплывали, а Серёжке судорогой ногу свело, видимо, ту, которую сейчас таскает, как палку, хе-хе, забавно, не думал, что такое может быть совпадение – надо будет тихонько его поспрашивать – удивительно же будет, если так окажется – и судорога, и осколок по одной ноге. Ну куда, куда ты? А ну, останься. Останься, я тебе сказал! Ты что, оглохла?! Смотри у меня. И запомни. Я для тебя, красавица, звёзды с неба сниму. Надо будет – звёздочку на грудь повешу. Хочешь? Не веришь? Да я ж тебя спасаю, пойми ты это! И ты это прекрасно понимаешь, слышишь, спа-са-ю! От твоего вояки, от твоей деревни, от провинциальной жизни, от забвения. Возвращайся – сюда. К нам, к ребятам, ко мне. Всё у тебя будет. Не бойся, не бойся, не дрожи. Ну что ты так дрожишь, что ты, что ты? Слушай, не бойся. Мы же больше, чем друзья, мы ж почти родные, что ты. Ну, милая, хорошая моя, подойди, что ты, что ты, дикарочка? И дочке помогу, иначе не смогу никак. Не смогу помочь, если ей тяжело на экзаменах будет, ну ты же понимаешь, ты же умница. Вот, вот, хорошая. И ладно, успокоилась. Всё будет хорошо, всё, подойди ко мне. Ну? Давай. Давай! Иди ко мне. Что ты, что ты?.. Что ты?! Что ты так смотришь? Что?! Не смотри так! Не смотри так, ты что?! Не смей! Пожалей! Не надо!..

...Жёлто-сливочный утренний солнечный луч протиснулся между тяжёлыми фиолетовыми шторами и многократно отразился от зеркально начищенного паркета, тяжёлых полированных панелей библиотеки, созданной чехословацкими мебельщиками в далеком Брно, от стёкол, за которыми бесконечными рядами сгрудился тяжёлый труд несомненно прогрессивных мыслителей, от бронзовой ножки игривой пастушки из гэдээровского чернильного прибора на широком столе, рассыпался зайчиками, отражениями и контрастными всполохами и создал удивительно камерное, уютное освещение, более приличествующее дорожному алькову, чем кабинету заслуженного учёного республиканского – эх, да что там! – всесоюзного масштаба.

Следуя беспечной игре только поднявшихся лёгких облаков, большое помещение вспыхивало всеми оттенками янтарного спектра либо опять заволакивалось сиреневым сумраком, в котором мягкий свет включённой настольной лампы освещал лишь отброшенное высокое кресло, груду несомненно важных бумаг, рассыпанных по столу, медовую панель модной рижской радиолы и красивую благородную седину владельца кабинета, лежавшего на полу в тяжелейшем, припадочном, колдовском обмороке...

Тася остановилась на пороге, оглянулась назад, какую-то секунду рассматривала Валерку, потом вышла из кабинета и плотно притворила за собой дверь. Ольга Альбертовна, тщательно молодящаяся шатенка в очень изящном финском костюме, незаметно-брезгливо рассмотрела Тасю, потом уже смотрела в упор, позволив себе всепонимающую улыбку. Тася заметила утончённо-женскую издёвку и глянула в ответ просто и даже намеренно чуть-чуть дурковато:

– Валерий Петрович устал, просил не беспокоить.

- Понимаю-понимаю.
- Всего хорошего... Олечка.
- И вам всего наилучшего, Таисия э-э-э-э...
- Спасибо.

4

Провинциалка вышла. Дверь в приёмную закрылась. Ольга Альбертовна фыркнула, чуть вздёрнула прелестный носик, изящно поцокала идеально наманикюренными коготками по столешнице, потянулась, вкусно зевнула, потом достала из верхнего ящичка красивую польскую пудреницу, открыла её и с лёгкой досадой стала изучать тоненькие мимические морщинки.

Тася, едва приехав из Киева, надела старенький, выцветший до бесцветности халат, повязала белую косынку, взяла в сарае самую зацепистую тяпку и своей особо круглой, перекатывающейся походкой рванула на низ огорода. И там, там уже разбивала подсыхшую корку под фасолью, капустой, пушила луковые грядки и вошла в такой ритм и раж, что уже не чувствовала времени, да толком и не слышала ничего вокруг. По её смуглым запылённым ногам и рукам сбегали капли пота и вырисовывали чёрные дорожки, больше похожие на прихотливую тагуировку. Сердце привычно стучало, затылок пекло даже через косынку, спина взмокла, но эта изнурительная работа лучше дегтярного мыла очищала душу от мерзости, пережитой в большом городе.

Изумрудно-сливочные, уже начавшие закручиваться кочаны капусты раскрывали внешние листья, чуть ажурные из-за перелезших от соседки мохнатых гусениц. За межой что-то шептало мягкое жито, нежась под тёплыми ладонями ветерка, изредка выскакивавшего на солнцепёк и снова прячущегося в высоченной стене разросшихся орехов. Эти восемь деревьев росли столь обширно и роскошно, что занимали полосу не меньше десяти соток на низу Ульяниного огорода, вдоль которого сбегал вниз Тасин участок.

Над разогревшейся плодородной землёй прокатывался карамельный прибор сбивавших с ног запахов – сильной, рвущейся вверх картофельной ботвы, украшенной сиренево-оранжевыми и бело-жёлтыми букетиками, белого и розового клевера, густо покрывшего межи, стремительных рядов распиравшей землю моркови, луковых грядок, помидорной делянки, кислотовато-сладкой волны падалицы из-под яблонь-скороспелок, густой клубники (не забыть поискать последнюю), от высоких кустов малины, ликёрных вишен, липких капель по сливовой коре, крыжовника, зарослей смородины в дальнем тенистом углу, тысячелистника, подорожника, полыни, бессмертника, пьяной кашки, лебеды, спорыша, ромашки и прочего бесчисленного разнотравья, над которым жужжала и беззаботно упивалась нектаром суетливая насекомая живность.

Солнце проскользило по выгоревшей небесной сфере кипящей каплей масла и зависло над вишнево-оранжевым запылённым горизонтом. Тася отбросила тяпку в сторону и медленно завалилась на нагретую межу, густо заросшую порозовевшим на солнцепёке тысячелистником, сняла влажную косынку, вытерла едкий пот с горячего лица, с шеи, оглянулась и устало удивилась, сколько же она дел наворотила.

– Мама! – послышался топот сильных ног Зоськи. – Мама! Ну что? Я думала, ты ещё в Киеве! А я с карьера вернулась, купалась с девчонками, потом к колодцу ходила, всё думала, как ты там! А ты здесь... Мамочки... Это когда ж ты вернулась?!

– Да думала, что недавно. Думала – не так давно. А вот видишь... А ведь просто вышла поспасть. Знаешь, в охотку...

– Ничего себе, в охотку! Мам, на, я воды тебе принесла, я ж тебя как увидела, так сразу побежала, а потом подумала, вернулась, чайник захватила, ну, короче, вот. На, держи Большую.

«Большой» в семье Добровских называли очень удобную литровую жестяную кружку, передававшуюся по наследству. Тася осторожно взяла тяжёлую кружку, вырывавшуюся из непослушных, трясущихся рук, порадовалась прохладе запотевших стенок, молитвенно прикоснулась запёкшимися губами к ледяному ободку, чуть двинула горлом и даже застонала от удовольствия. Первый, неуловимый, желанный глоток воды скользнул по наждачке сухого языка, заклокотал в горле, застудил клейкие зубы, дал себя распробовать и, наверное, так бы и впитался в солёном рту, но вслед ему потекла-хлынула стывшая, бесконечно вкусная колодезная вода. Тася держала большую кружку обеими руками и пила, пила, пила не отрываясь, то мелкими, то крупными глотками, чувствуя, как с каждым глотком наливаются приятной, баюкающей, блаженной усталостью уработавшееся до дрожи, до немоты, до конского пота тело.

– Мама! Мама, ты ж осторожно, вода ж холодная ужас просто, ещё не отогрелась, только ж принесла!

– То, что надо. Самое оно. Лучше и не придумаешь. Погоди. Я сейчас, ещё допью. Высохла просто. Ф-ф-фух! Вся мокрая. Аж по спине вода плавом.

– Мама... Мам... – Зоська старалась заглянуть в неуловимые глаза мамы. – Мам, ну, что тебе сказали?

– Садись, – Тася подняла голову и в первый раз глянула прямо дочке в глаза. – Садись-садись на межу. Всё хорошо, но в университете ты учиться не будешь.

– Мама?! Как? Ты что? Как? Мама? Да ты что?! Что тебе там наговорили?!

– А ты послушай...

И наверное, впервые в жизни Тася так по-взрослому стала говорить с дочкой. Не жалея, не боясь, не скрывая и не таясь. Просто как женщина с женщиной, без оглядок и поправок на детство, открывшись так, что Зоська занемела и смотрела на маму во все глаза, словно в первый раз увидела. Так всегда бывает, когда красивым молодой красотой девушкам повезёт узнать, что их матери тоже – желанны, привлекательны и решительны. Не понятно любимы, из детства, привычными отцами обожаемы, а – по-женски – для других, чужих желанны. И что матери, в женской силе и красоте, могут вот так, со спокойной улыбкой, чуть прикрыв длинными ресницами потемневшие глаза, рассказывать о прожитом, испытанном, прочувствованном, недомашнем, но с другими мужчинами.

– Вот так, Зосечка... Мальчик из довоенного. Наш комсорг Валера... – Тася помолчала, потом, крикнув, поднялась с межи, протянула руки к небу, прогнувшись-потянувшись. – Он цену поставил, чтобы я с ним спала. Вот так. А я... – она глянула на притихшую дочку. – А мне противно.

– Мама... – прошептала Зося, всем телом ощущая, как в ней клокочет лютой лютой ненависть к тому чужаку и как тонет в волне ненависти её университетская мечта.

И больно ей было, и бешено, и весело, и нежно. Нежно – к маме. И ни секунды больше не жалела Зоська, не переживала, не дёргалась, не пыталась что-то оплакать по-девичьи, нет уж! – такой уж у неё был папы-мамин характер, что с грохотом разорвала-припечатала она все кружевные-детские мечты и выпалила, в первый раз в жизни при маме коряво выматерившись:

– Ну и хуй с ним. В другой институт поступлю.

– Точно, – Тася, чуть прищурившись, глянула на взъерошенную девочку. – Я знаю, что будет. Мне Захаровна тут хвасталась, что её Света в Ленинград едет. Будет поступать в технологический, будет технологом по всяким молочным делам. А что, если и тебе? Будешь сыры, сметану делать на нашем молокозаводе, как сыры будем в масле кататься. А что? С простыми людьми – оно и жизнь проще жить. А там, глядишь, и сама разберёшься, что и как. И с кем жизнь лучше жить. Ленинград – самый лучший город в Союзе, не то что Киев с его надутыми пурцами. Ленинград, ты только подумай – Ле-нинград. Хочешь?

...Вот так – в секунду – решаются судьбы. Можно годами лелеять надежды, строить планы и людям доверяться, их умные советы слушать, им следовать и верить, можно учиться,

книжки читать и готовиться к одной жизни, а тут – бац! – и надо эту непрожитую жизнь поломать – и совсем по-другому решить. А всё потому, что совесть сама подсказывает, где справедливость и где она – правда. Сложная это штука – справедливость. Как её померить? У каждого ведь своя правда. У богатого одна правда, у бедного – своя. У больного и здорового правды разные. И у добряка правда, и у подлеца, да и у лжеца – ведь тоже своя правда. А люди справедливости хотят. Чтобы по справедливости. Ведь и не всегда поровну получается справедливость. А по совести. Что же – совесть у каждого своя? Как и правда – тоже своя? Так, получается? Вроде ведь одно и то же – справедливость правду ведаёт. Только что-то не так. Справедливость – откуда она берётся? Какой меркой меряется? Жизнь сама подсказывает – когда ребёночку, старику или больному побольше, а себе поменьше, когда любимую женщину укрыть своей одеждой, а самому дрожать, когда промолчать нельзя, больше нету мочи терпеть – вот тогда и понимаешь, откуда берётся эта штука – справедливость. Получается, что она подлости противоположна. Как кривда противоположна правде, так и справедливость – подлости. Так? Да вроде так. Только когда? Да вот тогда, когда всю жизнь живём, себя не зная, пока не приходит секунда – узнать, испытать и решать. Не свою – а ближнего правду ведаёт. И самому решать, без подсказки. А Бог смотрит. Именно. Ладно, мы ж молодые, пошли жить дальше – жизнь удивительная штука...

– Ленинград?

– Да. И Света едет, да и Коля Зинченко – тоже.

– Колька? Колька мне ничего не говорил! Ах же паразит! Это он точно... Да, ведь Стас – ну, помнишь? – Стас, его старший брат, он же в геологическом в Ленинграде (Зоська еле успела прикусить язык, чтобы не проболтаться о домашнем твисте с братьями Зинченками – не хватало только этого!). Точно! Слушай, ты так классно это придумала! Я к Кольке побегу, порасспрашиваю.

– Да погоди ж ты! Пойдём, ужин сготовим. Куда ж ты? Люди заняты, завтра сходишь, вот ведь неугомонная какая! Отца покормить надо – придёт с дежурства голодный, уставший, бессонный.

– Мам! Ну я быстро! Мам, ну пожалуйста!

– Нет уж, доня. Пошли в дом. Завтра будет день, будет и пища. Ну-ну, не смотри, не смотри. Всё будет хорошо, я так чувствую.

5

– Зося Васильевна? Добровская?

– Да. А откуда вы меня знаете?

– Как откуда? Вы анкету заполняли? За документами пришли? Вас ждут.

– Кто ждёт? Я ведь документы заберу – и всё.

– Вы ещё очень молодая девушка, чтобы я тратила на вас время, пожалуйста, не спорьте, у меня и без вас тысяча дел. Быстро идёте за мной, вас хотят видеть. Вы идёте? Нет, не сюда, направо. Нет, не на кафедру. Так, успели. Нет, товарищи, товарищ Орленко просил подождать. Нет, Маргарита Константиновна, нет. Валерий Петрович занят. Ждите. Сколько надо, столько и подождёте. Я вас приглашу. Зося Васильевна, проходите, вас ждут. Всё-всё, товарищи. Тихо...

– Здравствуйте.

– Здравствуй, Зося. Проходи, садись.

– Я постою.

– Тебе документы вернули? Ты извини, что я плохо говорю, я от врачей удрал.

– Ещё не вернули.

– Ты так и будешь молчать? Дай-ка я на тебя посмотрю. Так вот какая ты – Зося Добровская. Так что же – давай посмотрим твои документы... Так... Вот – золотая медалистка из Топорова, это, как я понимаю, да – республиканские олимпиады, это рекомендация райкома комсомола, танцевальные конкурсы, областное первенство – и забирать документы? Видишь, сколько я про тебя знаю? Побольше, чем ты в анкете написала, Зося Васильевна Добровская, да? Какой ты факультет выбрала? Филологический? Правильно. Как мама. Жаль, мама не смогла доучиться. Война... Что с людьми творит, как ломает... Так мы же, фронтовики, для того и воевали, сражались на фронтах Великой Отечественной, чтобы вы, молодое поколение, наша надежда и гордость, смогли продолжить наше дело. Так что же ты, молодое поколение, да ещё и с такими задатками – отказываешься? У нас в университете сильнейшая комсомольская организация, такие, как ты, очень нужны для большой и важной работы. И на виду будешь, и дел полно – и старшие товарищи, коммунисты-фронтовики, – мы тоже рядом... Ты подумай, Зося Добровская, от чего ты сгоряча отказываешься. Я не сомневаюсь, что ты великолепно сдашь вступительные экзамены, твоя мама тоже блестяще всё сдавала, когда мы учились вместе. Она тебе рассказывала?

– Рассказывала.

– Очень хорошо, что рассказывала. А рассказывала она, какая дружная у нас была группа? Рассказывала, как мы, лучшие студенты, рекомендации в партию получили? Молчишь? А рассказывала, как перед самой войной в нашем комитете комсомола нас собирали? Тоже не рассказывала? Видишь, как много ты не знаешь, Зося Добровская? А ведь мы с твоей мамой очень дружили. Жаль, что в то героическое время, когда огонь войны поджигал наши города и сёла, когда мы, опалённое огнём сражений, молодое тогда поколение, сражались днём и ночью, когда мы, германисты из университета, делали особо важное дело для нашей великой Победы, теперь уже можно об этом говорить, сколько сделали, сколько сведений добыто, столько важных операций было подготовлено с нашей помощью, сколько расшифровок было сделано... Жаль, что твоей мамы с нами не было... Очень жаль... Но видишь, мы же все – друзья – сразу нашли – и тебя, и твою маму, чтобы встретиться, чтобы порадоваться все вместе, что наша дружба прошла через воду и огонь лихолетья, чтобы посмотреть и порадоваться твоим успехам. Твоим успехам, Зося, когда ты поступишь в университет. Так что же, ты хочешь разрушить надежды товарищей твоей мамы?

– Нет, не хочу. Я пришла забрать документы, потому что передумала поступать в университет. Я... Я буду поступать в другой институт.

– В университет – и передумала? Вот ещё шуточки какие! Университет – лучший вуз нашей советской Украины, один из лучших во всем Союзе! Никогда не поверю, что ты, Зося Добровская, можешь так малодушно снизить свою планку, всей молодой жизни старт. Нет, не поверю. Ну, и куда тебе сейчас захотелось, если, конечно, не такой уж это страшный-ужасный секрет?

– Я буду поступать в Ленинграде.

– В Ленинграде? А почему не в Москве, не в Томске, не в Минске, не в Алма-Ате? Да почему не в МГУ, в конце концов?

– Почему? Да потому, что Ленинград – это город революции! Это город...

– Какой? Ну же, что же ты замолкла? Что так смотришь?

– Да потому, что это Город Революции. Город, где нельзя врать! Где не врут, вот! Мама мне всё-всё рассказала! И о вашем разговоре позавчера. Ей плохо было, видели бы вы её глаза!

– Не врут? Глаза?... Глаза. Да-да, глаза. погоди, что ты... погоди, сейчас. Ольга Альбертовна, воды, пожалуйста. И посмотрите там – валидол или что ещё. Да. Нет-нет, ничего. Очень хорошо. Ольга Альбертовна, прикройте дверь поплотнее. Нет-нет, ничего, пусть наша гостья останется. Нет, Ольга Альбертовна, не надо опять скорую. Сколько можно?! Сейчас отпустит, отпустит. Всё, Ольга Альбертовна, всё. Так. Слушайте внимательно. Если вы сейчас тайком,

тихонько что-нибудь учудите и через какое-то время сюда войдут люди в белых халатах, Ольга Альбертовна, ну... вы поняли, да? Очень хорошо. Меня ни для кого нет. Всё.

– Я пойду.

– Стой. Стой, раз не хочешь садиться. Значит, вон как разговор повернулся... Ясно, дочка.

– Я вам не дочка.

– Тихо, доня, тихо. Я уже старый, я больной, думаешь, легко – и университетом заниматься, и в республике? Знаю, что говорю. Ты что же, думаешь, у меня всё так в жизни просто, чтобы... Ладно, всё говорю, говорю, всегда говорю. Это недостаток такой, уже профессиональный, да и руководящий такой... Говорить. А ведь я только посмотреть хотел – какая ты. Да попросить тебя – нет-нет, не с документами, бог со всем этим, нет, доня, нет. Попросить хотел, я понимаю, это глупая, это безумная мысль, это... Ведь она из-за тебя там, в Топорове, держится, понимаешь ты? Ты хоть понимаешь, что здесь – здесь! – здесь её совсем другая жизнь ждёт?! Понимаешь? Да что ты понимаешь-то?! Ты жизнь ещё не видела... Я тебя попрошу – ты вернёшься, сейчас тебе отдадут документы, а ты – ты, доня, ты ж маму увидишь, ты ей скажи... Только этим живу... Доня, отдай мне маму.

– Я... Что вы говорите?! Я... Я не могу.

– А ты, ты смоги. Послушай меня. Ладно, ты прости меня, это... так, безумство. Как-то скомкано, глупо, по-детски. Забуди, доня. Ладно, тебе идти уже надо. Погоди. Скажи маме... Скажи маме, что... Нет, ничего не говори. Да, Ольга Альбертовна. Да, лучше. Спасибо. Зайдите. Ольга Альбертовна, проводите Зося Васильевну и лично, послушайте, лично проследите, чтобы все документы ей вернули полностью. Да. Полностью. Ну, что ж, будем прощаться. Думаю... Ладно. Ступайте, Зося Добровская. Всего хорошего.

– Прощайте.

Зося вышла.

Товарищ Орленко Валерий Петрович сидел в огромном кабинете, рассматривал издевательски дрожавшие руки, две таблетки валидола на полированном столе, весёлую немецкую пастушку и красивую фотографию, с которой ему улыбались его две уже взрослые дочери и дорогая жена Ираида Семёновна...

6

– Ну, куда теперь? Шура, какие предложения, варианты, решения? – Кирилл Давыдов, он же Давид, он же Давыдыч, подтолкнул плечом кругленького Сашку Василькова. Оба сидели на широком подоконнике, залитом солнечным светом, и сонно смотрели вниз, в пустой двор напротив общаги.

Лету оставалось меньше недели сроку, обычная для этого времени года ленинградская дождливая лирика совершенно не укладывалась в общесолнечное настроение постепенно заполнявшихся общежитий ленинградского технологического института. Студенты уже начали потихоньку возвращаться из родительских гнёзд – загоревшие, заботливо закормленные мамами, бабушками и любящими тётушками, непривычно постриженные – чтобы не пугать семейства, некоторым мальчишкам и девчонкам приходилось жертвовать навороченными «коками» и «вавилонами». Те, кто вернулись чуть пораньше, уже беззаботно угостили вечно голодное общежитие привезёнными из дому припасами и теперь сосредоточенно худели, заодно отращивая правильную длину волос.

Худеть – оно, конечно, дело местами увлекательное, нужное и полезное, поскольку позволяло опять влезать в зауженные до комариного писка модные брючки и платья. Но в пустых коридорах общежития не менее пустое брюхо относительно трезвого и небритого студента урчало так, что даже привычный ко всему Лёвчик, пушистый сибиряк комендантши Анны

Герасимовны, благоразумно прятался в каптёрках, лишь изредка совершая набеги в соседний корпус, где жила прекрасная половина студенческого человечества. И вот как раз в этот славный августовский полдень, вздёрнув широченный хвост, Лёвчик уверенной рысью отправился собирать обильную дань с запасливых девушек.

– Жрать пошёл, – завистливо прокомментировал кошачий манёвр Сашка, сидевший на разогретом подоконнике. – Хитрая зверюга. Помурлычет, потрётся о ножки, жрать выпросит.

– Тебя если погладит какая-нибудь девочка, ты тоже замурлычешь.

– Давид, я готов мурлыкать. Я люблю мурлыкать сытым. Но голодным мурлыкать – нет. Сколько на твоих?

– Четверть первого. А сколько в твоих?

Сашка методично вывернул карманы, складывая бумажки и копейки в кучки. Звяканье монеток заполняло коридор медной каплей. Худощавый Давид, прикрыв пушистые серые глаза, внимательно следил за подсчётами друга.

– Семь рублей, – прижимистый Сашка аж скривился от расстройства. Родительские деньги куда-то и почему-то испарились быстрее, чем он рассчитывал.

– А копеек сколько, Шура? – Давид ласково положил тяжёлую руку на плечо друга.

– А что копейки, Давид? Что копейки-то?

– Копеек сколько, ты, буржуй? Колись.

– Ну-у-у... Семьдесят девять. А что?

– Ничего, Шура. Три копейки трамвай. Ты представляешь, сколько увлекательнейших поездок по достопримечательностям города-героя Ленинграда мы можем с тобой совершить на наши копейки, Шура?

Сашка благоразумно не стал опровергать это вопиющее «наши», поскольку блестящий умница Давид, вечно голодный, худой, весёлый и безалаберно-безденежный по причине исключительной щедрости, был его лучшим другом и никогда не оставлял Сашку в учебных бедах.

– Ну... это... да.

– Именно. Ты всегда у нас правильно думаешь, Шура, – Давид меланхолично следил за высокими «кошачьими хвостами» в полуденной прозрачности небес. – Особенно талантливо у тебя получается подумать как насчёт картошки дров поджарить. Думайте, Шура, думайте. Где б нам с тобой подкрепить наши смертные тела в интересах дружественных упомянутым телам двух бессмертных душ? Шура? Ты куда смотришь так внимательно, Шура?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.